

С. А. ЭКШГУТ,
доктор философских наук, редактор отдела исторических иллюстраций
журнала “Родина”

ОПЫТ ИСТОРИОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ “ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕРИОДА” РУССКОЙ ИСТОРИИ

Великий английский философ и политический мыслитель Томас Гоббс (1588—1679) уподоблял государство *Левиафану* — библейскому чудовищу, обладавшему огромной силой. Трудно отыскать более удачный образ для олицетворения и историософского осмысления так называемого петербургского периода политической истории России.

В течение всего XVIII столетия и на рубеже XVIII—XIX веков в русской дворянской культуре еще не существовало таких укромных уголков, куда в принципе не могло бы проникнуть государство. Более того, самим носителям этой культуры подобное положение казалось вполне естественным: частная жизнь еще не обрела для них самостоятельной ценности, а государство не было осознано в качестве чуждой и враждебной силы. Общие интересы не противопоставлялись частным (что, впрочем, не мешало многим путать казенный карман с личным). Мысль о том, что есть такие сферы жизни общества, куда представители государства не могут и не должны быть допущены, еще мало кому приходила в голову. В это во многом *наивное* время, когда само понятие нормы только формировалось и еще не сложилось окончательно, никто не стеснялся своей

индивидуальности и не считал, что государство может расценивать ее как важный показатель нелояльности или оппозиционности. Могла существовать и часто была *поза*, но не было оппозиции.

Самодержавная власть осознавала себя не *столько правовым*, сколько *нравственным* регулятором всех без исключения сфер жизни общества. За государством признавалось право вторжения как в сопредельные страны, так и в частную жизнь подданных. В “нравственно-политическом отчете” III Отделения собственной Его Императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1842 год граф Александр Христофорович Бенкендорф сформулировал и обосновал это следующим образом: “Преимущество власти самодержавной заключается именно в том, что Самодержавный Государь имеет возможность действовать по совести и в некоторых случаях даже обязан, отстраняя закон, вершить дело, как отец решает дела между детьми: ибо законы — создания ума человеческого, не могли и не смогут предвидеть всех случаев и всех ухищрений сердца человеческого. Буквальным же применением существующих законов ко всем без исключения случаям часто подавляется истина и совершается самое очевидное неправоудие, тогда как намерение Правительства и цель мудрого законодательства состоит не в том, чтобы только соблюдать его уставы, но в том, чтобы при действии законов охраняема была строжайшая справедливость” (ГА РФ. Ф. 109. Оп. 223 (85). Д. 7. Л. 202—203).

Четкой границы между приватным и “высочайше одобренным” долгое время не было: с одной стороны, за властями признавалось право регламентировать все, что им будет угодно, с другой — суровость российских законов нейтрализовывалась необязательностью их исполнения. “В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение” (Вяземский П. П. Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 24). Российский Левиафан всегда осознавал себя мерой всех вещей. Именно государство, а не человек, было всеобщим эквивалентом и центром мироздания, в котором не могли существовать никакие самодостаточные ценности, автономные от властей. Только государство и только оно одно, как Бог, знало добро и зло. Государство не смогло своевременно осмыслить появление *новой реальности* — сферы господства частных интересов. Оно действовало карательно и запретительно, но не шло ни на союз с гражданским обществом, ни на диалог с нарождающимся общественным мнением. Даже получивший прекрасное образование и великолепно ощущавший дух времени Александр I в последние годы своего царствования “хотел от дворянства единственно повиновения своей воле, а не содействия”. В новой реальности император увидел исключительно умаление своей власти — ничего более. *С этого момента история государства Российского стала историей болезни чудовища.*

Болезнь настигла Левиафана задолго до того, как для чудовища наступили дни старческой немощи. Первые симптомы недуга отчетливо проявились вскоре после блистательного окончания Отечественной войны 1812 года и возвращения русской армии из заграничных походов — в момент наивысшего торжества российской государственности. Павел Иванович Пестель своевременно поставил диагноз и предложил России хирургическое вмешательство без наркоза и антисептики: “бескровную” военную революцию и многолетнюю диктатуру Временного Верховного Правления. Николай I и граф Бенкендорф отказались от хирургического вмешательства, избрав консервативный метод лечения болезни, который имел неожиданный *побочный эффект*: государство потеряло гражданское общество, став для него чуждой и враждебной силой. Со времени вступления Николая I на престол произошло постепенное усиление натиска государства, не гнушавшегося вмешиваться и в интимную жизнь подданных. Это породило их внутреннее сопротивление и вылилось в тенденцию к обособлению частной жизни. Государственное вмешательство стало ощущаться уже не отеческой заботой и родительским попечением, но *безнравственным* ущемлением естественных прав личности. Российское государство пережило, уже после 14 декабря 1825 года, еще одну трагическую развилку в своем развитии. Хронологически этот период следует отнести к 30-м годам XIX века, так как именно в это десятилетие граница между государственной и частной жизнью стала отчетливой и непрерывной: к 1840 году размежевание власти и общества завершилось. Наступили *сумерки* золотого века русской дворянской культуры.